

Гуторов В. А.

Глобализация и кризис современного государства

Тезис, согласно которому процесс глобализации в своей нынешней форме порождает повсеместно глобальный кризис традиционных политических институтов и особенно института государства, формировавшегося на протяжении многих тысячелетий, в настоящее время является почти трюизмом, если только он высказывается «вообще», т. е. без каких-либо конкретных пояснений теоретического характера, которые могут представлять интерес для научной или философской дискуссии. В чисто научном или аналитическом плане тема кризиса государства, на первый взгляд, опосредуется современным состоянием международных отношений и той ролью, которую играют в них государства, бывшие когда-то фактически единственными акторами мировой политики.

Концепция глобализации является сравнительно новой в современном политическом дискурсе и общественных науках. Первая социологическая статья, в которой появляется данное понятие, была опубликована в 1985 г. К февралю 1994 г. каталог Библиотеки конгресса США включал только 34 названия работ, в которых упоминались либо само понятие, либо производные от него термины, причем все они не публиковались раньше 1987 г. К концу 1990-х гг. термин «глобализация» становится заметным, и только на рубеже тысячелетий количество книг и статей, где он постоянно встречается, стало исчисляться сотнями [9, р. 43].

Исследовать оттенки категориальных значений данного понятия не имеет смысла, поскольку оно не содержит в себе сколько-нибудь ощутимых противоречий. По справедливому замечанию А. Бэча, это «просто всеобщий термин, используемый свободно в качестве стенографического ярлыка для обозначения чего-либо или всего, или же, в наиболее общепринятом смысле, некоей комбинации пяти скорее различных тенденций в мировых делах, которые легко могут быть перечислены» [Ibid.]. В перечислении А. Бэча в эту комбинацию входят:

- 1) возрастающая обеспокоенность и международные действия в сфере проблем окружающей среды, имеющих глобальное значение;
- 2) рост мирового рынка как следствие снижения транспортных расходов, всеобщего сокращения таможенных платежей в соединении с созданием Всемирной торговой организации (ВТО) с целью защиты торговых соглашений и снятия барьеров, препятствующих торговому обмену;
- 3) учреждение международных судов для защиты прав человека или в особых регионах, или в более широком масштабе;

4) новый взгляд, согласно которому либеральные правительства или их коалиции должны обладать правом (а возможно, его следует трактовать и как долг) вмешиваться во внутренние дела других государств, если последние являются виновными в грубых нарушениях прав человека на своих территориях;

5) чрезвычайно стремительное развитие на мировом уровне средств коммуникации, открывающее возможность глобализации культуры [Ibid.].

В данном ракурсе понятие «глобализации» терминологически выглядит даже более осмысленным по сравнению с понятием «модернизация», обладающим практически бесконечным количеством оттенков и применяемым для характеристики чрезвычайно многообразных процессов и действий самого различного уровня и направленности — от модернизации станков, стрелкового оружия, отраслевых министерств, школьного и университетского образования до модернизации экономик и политических систем стран и регионов.

На понятийном уровне модернизацию с глобализацией объединяет и еще одно примечательное свойство, а именно способность встраиваться в любую политическую конъюнктуру. Например, английский политолог Р. Саква вполне сочувственно и без всякого оттенка критической иронии следующим образом комментирует действия Сергея Иванова, осуществлявшего на посту министра обороны обширный план перевооружения российской армии: «Представляя свой план Думе 7 февраля 2007 г., Иванов настаивал на том, что вопрос стоит о „модернизации, а не реформе армии“, поскольку слово „реформа“, заявлял он, „вызывает у нас аллергическую реакцию“» [18, р. 408].

Хотя в современных дискуссиях о перспективах развития России речь, как правило, идет о ее модернизации в одном, самом широком смысле, Н. А. Симония совсем недавно отметил в статье, посвященной реализации комплекса идей по ускорению и развитию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока: «К сожалению, развитие и практическая реализация этих идей начались в период, когда Путин был премьером и существовал „тандем“... Несомненно, *негативную тормозящую роль сыграли откровенные противоречия между двумя администрациями — президентской и правительственной*. Это обстоятельство еще более усугубило негативное действие механизма *межминистерского согласования* — одного из главнейших тормозов социально-экономического развития России, загубившего *десятки проектов модернизации*» (курсив мой. — В. Г.) [4, с. 68].

Современные трактовки глобализации, первоначально тесно связанные с идеями постмодерна, обычно акцентируют внимание на общей

тенденции к усилению интернационализации экономики, коренящейся в транснациональном характере капитала, к массовому производству и формированию мощных коммуникационных сетей и технологий, неотделимых от глобальной структуры массового потребления. В идейно-психологическом плане, — отмечает П. Л. Бергер, — «термин „глобализация“ становится эмоционально нагруженным в общественном дискурсе. Для некоторых он представляет обещание международного гражданского общества, ведущего к новой эре мира и демократизации. Для других он предполагает угрозу американской экономической и политической гегемонии с ее такими культурными последствиями, как гомогенизированный мир, напоминающий разновидность метастазного Диснейленда (которую один французский чиновник мило называл „культурным Чернобылем“)» [15, р. 2].

Данный подход разделяет и О. Хеффе. Термин «глобализация», — утверждает он, — «нагружен противоречивыми эмоциями — отчасти надеждой, отчасти страхом — и используется настолько инфляционно и неточно, что его лучше избегать. И все же, когда он обретает более очерченный профиль, он имеет существенную диагностическую ценность для наших времен, поскольку он верно определяет вызов, не подталкивая к предубежденному ответу. Первое приближение к нему является непротиворечивым, но недостаточно четким: глобализация как возрастание и интенсификация социальных отношений в мировом масштабе. Только посредством четырех квалификаций этот феномен обретает более различимый профиль... Будь это внутренняя и внешняя безопасность, забота о благосостоянии, экономическое процветание или защита окружающей среды, все эти наибольшие виды ответственности, требующие человеческой самоорганизации, которая базируется на государственности и господстве права, теперь выходят за государственные рамки. И, что более важно, постоянно увеличивающуюся власть и влияние на мировой арене приобретают дополнительные акторы: многонациональные корпорации, международные или транснациональные институты и неправительственные организации. Пока эти новые сущности еще не вытесняют существующие политические концепты, такие как либеральная демократия и ее социальные и экологические виды ответственности. Но они уже приобретают новое измерение, которое значительно трансформирует политику и теорию, лежащую в ее основании» [13, р. 1].

В целом большинство специалистов и аналитиков, независимо от различных идеологических подходов, разделяют ту точку зрения, что глобализация является исключительно сложным, противоречивым, далеко

не во всем предсказуемым историческим процессом, имеющим множество аспектов и уровней измерения. Глобализационные процессы включают в себя новое структурирование мирового пространства, главным вектором которого является формирование многоуровневых сетевых структур в сфере промышленности, финансов, торговли, новых технологий массовых коммуникаций, культурной индустрии и распространения идей. Они затрагивают не только межличностные отношения, но и активно вторгаются в политическое пространство, оказывая воздействие как на современные территориальные государства, так и на все без исключения элементы мировой политической системы.

Для современных теоретиков либерализма и неомарксизма глобализация имеет преимущественно экономическое измерение, поскольку оба данных направления мысли акцентируют внимание на экономических силах, действующих в мире, нередко оставляя в стороне вопрос о том, что в действительности даже экономические изменения не осуществляются исключительно с помощью экономических факторов: большое влияние на них оказывают технические достижения, политические решения и изменения публичных позиций социальных групп, которые также постоянно подвергаются трансформации. Ключевую роль в данном процессе играют современные мирные и военные технологии, как правило, преодолевающие пределы национальных государств и формирующие сетевое глобальное общество.

Наиболее примечательная черта глобализации заключается в том, что благодаря ей «таким социальным акторам, как национальные государства, местные сообщества и индивиды, становится все труднее поддерживать свою идентичность без ссылки на всеохватывающие глобальные структуры и потоки. Взаимосвязи глобализируют мир вполне измеримым, возможно, даже „объективным“ образом, но это происходит преимущественно потому, что все эти силы заново определяют опыт и восприятия все большего количества акторов. Поэтому глобальное является теперь когнитивной референтной рамкой для многих акторов, которые осознают глобальное давление, хотя это в гораздо меньшей степени ощущается на уровне культуры и морали» [20, р. 243].

Приоритеты в этом плане до сих пор определяются соотношением политических страстей и борьбы, с одной стороны, и идеологически окрашенных интеллектуальных дискуссий — с другой. Например, уже в 1990-е гг. в Китае тема глобализации стала центральной в дискуссии между двумя противоборствующими группами интеллектуалов. По мнению либеральных идеологов и реформаторов, занимавших ключевые

позиции в планировании китайской политики, глобализация является новой стадией в процессе модернизации и представляет собой такую возможность, упустить которую Китай не может себе позволить. При этом они подчеркивали, что глобализация способна обеспечить постоянный мир на планете, уничтожить неравенство между развитыми и развивающимися странами и привести к дальнейшему развитию и процветанию. Глобализация способствует распространению универсальных ценностей, таких как свобода, демократия и права человека, и поэтому является чрезвычайно полезной китайскому обществу. Поскольку глобализация представляет собой высшее состояние модернизации и человеческого развития, ее необходимо всячески поощрять [8, р. 37].

Напротив, представители новых левых и неомарксисты утверждали, что глобальный капитализм принесет Китаю гораздо больше вреда, чем блага, и что западная модель модернизации совсем не подходит для их страны. Они были более озабочены увеличивающимся социальным неравенством, вызванным быстрой аккумуляцией капитала, а также прогрессирующей деградацией социокультурной и окружающей среды, причиной которой была слепая приверженность партийного государства к модели экономического развития, основанного на притоке иностранного капитала [Ibid., р. 38].

Что касается позиции западноевропейских и американских левых, то большинство их идеологов не склонны считать, что процесс глобализации предопределяет исключительно однозначную конфигурацию экономики и политики, отвечающую интересам США, крупных корпораций и мировой олигархии. «Глобализация, — отмечает один из ведущих западных политических философов левого направления Роберто Мангабейра Унгер в работе „Что должны предложить левые?“, — теперь стала родовым алиби для капитуляции: каждая прогрессивная альтернатива высмеивается на том основании, что давление глобализации делает ее непрактичной. Истина, однако, заключается в том, что, как свидетельствует контрастный опыт современного Китая и Латинской Америки, даже настоящий глобальный экономический и политический порядок допускает широкий спектр эффективного ответа» [21, р. 133].

Центральным пунктом теоретических дискуссий между сторонниками либерализма и приверженцами леворадикальных теорий является обсуждение принципиально важных проблем трансформации демократических институтов в современном мире, которое теснейшим образом связано с новыми интерпретациями теории демократии, включая анализ самого понятия «современная демократия».

Термин «демократия» в современном смысле стал распространяться в XIX веке для описания системы представительного правления, в рамках которой представители выбираются в различные органы власти на свободных конкурентных выборах и большая часть граждан мужского пола обладает правом голосовать. В США такое положение дел было достигнуто в 1820–1830-е гг. по мере распространения избирательного права в различных штатах. В 1848 г. во Франции произошел внезапный скачок в предоставлении права голоса взрослым мужчинам, но принцип парламентского правления был гарантированно установлен только к 1871 г. В Британии парламентское правление было введено начиная с 1688 г., но большинство мужчин получили право голоса только к 1867 г. Следовательно, если не считать нескольких столетий развития демократии в древнегреческих полисах, в мировой истории демократия является сравнительно новым феноменом, который имеет тенденцию к быстрому распространению. За последние несколько десятилетий демократические институты и практики твердо установлены примерно в 30 из 192 ныне существующих государств. В дополнение к ним существуют более молодые, но очевидно стабильные демократические режимы в Испании, Португалии и Южной Африке, неопределенное количество режимов, которые лучше всего могут быть описаны как частично демократические, такие как Кипр, Мексика и Малайзия. Большое число режимов (преимущественно в Восточной Европе и Латинской Америке) с 1990-х гг. получили право именоваться демократическими.

Один из источников смутности и неопределенности в трактовке современного содержания понятия «демократия» заключается в том, что оно используется для описания не только формы правления, но и системы общественных отношений. Так, американцы говорят, что их страна обладает не только демократической структурой политических институтов, но и является *демократическим обществом*. В начале XX века некоторые британские социалисты (например, Сидней и Беатрис Уэбб) пропагандировали идею «промышленной демократии» как эффективного средства установления рабочего контроля над промышленными предприятиями. В послевоенный период в странах Центральной и Восточной Европы форма правления и характер общественной жизни определялись правящими коммунистическими партиями как «народная демократия». Однако такого рода неопределенность не может создавать особо сложных теоретических проблем при условии, если термин «демократический» используется в соответствии с заложенным в нем семантическим смыслом. Тогда демократическое общество в американском смысле может восприниматься как

общество без наследственных классовых различий, в котором существует тенденция к обеспечению равенства возможностей для всех граждан. Именно так характеризовал общество и стиль жизни в США Алексис де Токвиль, используя термин «равенство возможностей» для обозначения не столько формы правления, сколько достигнутого американцами уровня социального равенства. Точно так же мало кто как за пределами, так и внутри стран «народной демократии» мог обманываться относительно формы правления и образа жизни населения жестко контролируемого СССР региона.

Драматическое развитие в 1990-е гг. демократических практик по всему миру породило (преимущественно у американских теоретиков и их адептов в посткоммунистических странах) иллюзию о существовании жесткой взаимосвязи между ростом свободного предпринимательства, с одной стороны, и демократических институтов — с другой. В работах наиболее амбициозных из них отражалась давняя утопическая вера в судьбоносное призвание США обеспечить конвергенцию всех обществ на основе «американского образа жизни». Такого рода теории были наглядным свидетельством крайне упрощенной универсалистской трактовки модернизации как синонима демократизации. Когда Германия в период между 1871 и 1914 гг. и Россия на рубеже XIX и XX веков стали следовать примеру Великобритании и США, стремительно проводя индустриализацию своих экономик, они делали это в рамках авторитарной системы власти. Несмотря на стремительность роста образованного класса и развития культуры (достаточно вспомнить культуру русского Серебряного века и уровень, достигнутый немецкими университетами в этот период), что, по мысли некоторых теоретиков, является главным фактором, устанавливающим связь экономического прогресса с демократией, Германия не стала демократической (если, конечно, не считать короткий и отягощенный послевоенной разрухой и мировым экономическим кризисом период Веймарской республики) до тех пор, пока американские, британские и французские оккупационные силы не продвинули ее в этом направлении. Переход России к «диктатуре пролетариата» и «социалистической демократии» (заставивший многих россиян, как ставших эмигрантами, так и переживших ГУЛАГ, вспоминать Российскую империю как ушедший в безвозвратное прошлое «золотой век») не приостановил процесс экономической модернизации страны, но до начала 1990-х гг. ни на йоту не продвинул ее в сторону западной модели демократического общества. Точно так же индустриализация и экономический прогресс Японии вплоть до военной катастрофы 1945 г. никак не совпадали с западным демокра-

тическим пунктиром до тех пор, пока генерал Макартур и его советники резко не перевели эту страну на рельсы парламентской демократии.

Таким образом, хотя представление о том, что адекватной формой политической организации, соответствующей цивилизованным отношениям, является либерально-демократическое государство, выглядит идеологически и ценностно ориентированным, в историческом плане оно отражало широкое распространение либеральных идей и институтов в XIX — начале XX века, затронувших все без исключения европейские страны, включая традиционные монархии. С кризиса этих институтов после Первой мировой войны начался процесс развития в тоталитарном направлении России, Италии и Германии. В тех европейских странах, где было достигнуто наибольшее равновесие между организацией производства и политической системой, коммунизма и фашизма удалось избежать. Однако исторический опыт показывает, что более глубокой причиной подобных резких изменений и переворотов является стремление к модернизации стран, отстающих в развитии, как ответ на вызов, брошенный техническим процессом. В длинном ряду современных военных диктатур и авторитарных режимов тоталитарные государства могут рассматриваться как своеобразная аномалия. Тем не менее при всем различии тоталитарных и авторитарных режимов возможно их сопоставление как *современных государств*, идущих по пути модернизации. «...Коммунистические режимы — отмечает, например, Т. Макдэниэл, — в целом могут быть сгруппированы с некоторыми некоммунистическими государствами, такими как Турция Ататюрка, в качестве осуществляющих модернизацию однопартийных диктатур. Хотя вполне подходит называть таких правителей, как Сталин и Ататюрк, автократами, такая автократия имеет отличие: не стремясь к личному правлению, основанному на традиционной легитимности, эти правители рвут с прошлым, пропагандируя идеологии обновления и обеспечивая массовое участие посредством развития массовых политических организаций... Такие автократические системы мобилизации ясно доказали способность создать основы современного индустриального общества. В определенном, самом крайнем случае, продемонстрированном сталинской системой, они действовали, фактически уничтожая отдельное существование гражданского общества — факт, указывающий на ту огромную цену, которую эти режимы были готовы платить за свою версию прогресса» [16, р. 10] (ср. [1, с. 191, 193, 206, 255]).

Будучи антиподом цивилизации с ее неотъемлемым атрибутом — свободой, коммунистические режимы, уже для того, чтобы быть в состоянии бросить вызов, должны были пройти период модернизации с целью соз-

дания соответствующего технического потенциала. Этот период составил целую эпоху, в рамках которой возникла сложнейшая система международных связей, взаимоотношений и взаимоотталкиваний. Вне нее невозможно ни понять причины возникновения фашистских режимов, ни объяснить, почему коммунистический режим возник в Китае, а не в Индии, находившейся примерно на той же стадии развития, или почему прокоммунистические революции произошли на Кубе и в Никарагуа, тогда как в других латиноамериканских странах развитие продолжалось в традиционном направлении медленного формирования системы, близкой к западной, через военные диктатуры и авторитарные режимы.

Сравнительно недавние примеры индустриализации Восточной Азии во главе с Сингапуром, Южной Кореей и Тайванем демонстрируют возможность чрезвычайно быстрого экономического роста в рамках политических систем, которые далеко не во всем можно считать вполне демократическими. Напротив, азиатские страны с давними демократическими традициями, например Индия и Шри-Ланка, долгое время оставались экономически отсталыми.

История свидетельствует о том, что гораздо легче декретировать демократические институты, чем развить политические условия и практику, необходимые для создания стабильной системы демократического правления. Для этого требуется не только система свободных выборов, но и свобода СМИ, политических партий, беспристрастное судопроизводство, готовность избирателей и политических элит принять результаты поражения на выборах и передать власть своим политическим соперникам, готовность военных и корпоративных экономических групп воздерживаться от соблазна использования своих возможностей для вмешательства в демократический процесс. В противном случае демократия неизбежно вырождается в ту или иную разновидность авторитарного режима. Наглядным примером подобного вырождения являются девять государств Восточной и Юго-Восточной Европы, в которых после окончания Первой мировой войны были установлены демократические институты. Из них только Чехословакия оставалась демократической до 1939 г. В других восьми странах авторитарные режимы того или иного рода были установлены в следующей последовательности: Болгария — июнь 1923 г., Польша — май 1926 г., Литва — декабрь 1926 г., Югославия — январь 1929 г., Австрия — март 1933 г., Эстония — март 1934 г., Латвия — май 1934 г., Румыния — февраль 1938 г. Ни один из этих поворотов в сторону авторитаризма не был вызван этническими расколами в обществе, экономическим коллапсом, революцией или гражданской войной, но либо

нежеланием военных воздерживаться от участия в политике, либо маневрами правящих элит, стремящихся удержать власть в своих руках и не дать вытеснить из нее своих «друзей».

Не менее обескураживающими были и результаты попыток ввести демократическое правление в странах Африки после завершения процесса деколонизации в 1945–1965 гг. В бывшем Бельгийском Конго и Португальской Восточной Африке (Ангола и Мозамбик) с начала 1950-х гг. не прекращались беспорядки, этнические чистки, диктатуры и гражданская война. Аналогичные явления, отягощенные масштабной коррупцией и разворовыванием иностранных помощи и кредитов, наблюдались и в бывшей Британской Африке. Вершиной этого процесса можно считать гражданскую войну в Нигерии, унесшую около миллиона жизней. Наиболее стабильные системы сложились в странах бывшей Французской Африки, главным образом благодаря тому, что французская колониальная администрация изымала власть у племенных вождей и усиленно формировала слой франкоговорящей образованной элиты, которой впоследствии передавались бразды правления. В результате эти страны долгое время переживали период однопартийного правления, и их шансы на превращение в подлинно демократические остаются под вопросом.

В странах Латинской Америки демократические институты и практики оказались более укорененными, в том числе и вследствие притягательности примера стабильного президентского правления в США. Тем не менее демократические режимы были свергнуты в Бразилии (1964), Уругвае (1973) и Аргентине (1976).

С 2003 г. новый фокус интереса к процессам модернизации и демократизации переместился на Средний Восток, не без влияния неоднократно повторявшихся заявлений Дж. Буша-мл. о том, что он намерен продвигать демократию в этом регионе и не видит никаких оснований не верить, что мусульманские общества будут поддерживать демократические системы. Такого рода заявления тогдашнего политического лидера американских консерваторов шли вразрез, например, с концепцией С. Хантингтона, согласно которой исламская культура (как и конфуцианская) несовместима с демократией и в этом смысле составляет противоположность западной культуре (либерализм, протестантизм), латиноамериканской, православной и даже индуистской и африканской культурам, которые в той или иной степени способны к восприятию и применению на практике демократических идей и принципов [5, с. 33–48]. Современные реалии свидетельствуют о том, что в заочном споре между маститым ученым и американским президентом победа пока остается за первым. Имеются

многие соображения относительно того, чтобы сомневаться в самой возможности быстрого внедрения и развития демократических институтов в мусульманском мире.

Один из доводов, обычно называемый специалистами теологическим, выводится из следующего базового учения исламской религии: все законы, в которых нуждается человечество, могут быть найдены в Коране, а также в самом раннем своде судебных уложений, развивающих установленные им юридические и моральные принципы. Демократическое представление о том, что парламент является суверенным законодательным органом, естественно, вступает в конфликт с приведенным выше фундаментальным исламским верованием. С ним соотносится, например, политическая практика в современном Иране, где совет невыборных религиозных лидеров («стражей») обладает правом отменять законы, принятые парламентом исламской республики, если они вступают в противоречие с Кораном (подробнее см. [11]).

Разумеется, демократизация исламской страны является сложной, но не невозможной, о чем свидетельствует пример современной Турции, где с 1928 г. был введен в действие светский режим власти, на основе которого постепенно сформировалась парламентская система. В этом плане Турция может сравниться с Индией, где приверженность правящей элиты демократическим принципам помогала преодолеть многие сложные проблемы, с которыми страна сталкивалась со времени обретения независимости в 1947 г. [9, p. 128–132].

В целом общая тенденция может внушать аналитикам определенный оптимизм: со времени окончания Второй мировой войны почти все европейские страны, включая посткоммунистические, обладают более или менее стабильными, ориентированными на демократию политическими системами, в то время как в мире развивающихся стран влияние демократических идей и институтов также продолжает расширяться. Именно эта тенденция постоянно придает дополнительный импульс представлению о том, что и в будущем векторы модернизации и демократизации могут совпадать. В этом плане общие принципы, сформулированные еще в 1960-е гг. в рамках классической концепции соотношения модернизации и демократизации, также вряд ли могут быть до конца поставлены под сомнение.

«Недавние исследования, — отмечает Б. Геддес, автор главы „Что является причиной демократизации?“ „Оксфордского справочника по сравнительной политике“, — подтвердили то, что мы думали, что мы [уже] знали несколько десятилетий назад: более богатые страны, вероятно, являются и более демократичными. Дискуссия продолжается относительно

того, увеличивает ли демократическое развитие вероятность перехода к демократии. Пшеворский и его соавторы настойчиво доказывали, что развитие не является причиной демократизации; скорее развитие снижает вероятность поломки демократического механизма, тем самым увеличивая число богатых демократических стран, даже если это не связано с причинным воздействием на переход к демократии. Тем не менее другие образцы тщательного анализа смены режима продолжают обнаруживать взаимосвязь между развитием и переходом к демократии.

Некоторые другие регулярные наблюдения эмпирического характера достигли статуса стилизованных фактов, хотя и им всем был брошен вызов. Опора на нефть и, возможно, другие виды минерального экспортного сырья уменьшает вероятность демократии. Страны с большим мусульманским населением, вероятно, являются еще менее демократичными. <...>

Эксперты по Ближнему Востоку объясняют связь между нефтяным богатством и диктатурой следствием функционирования государства-рантье, которое может использовать свою ренту от продажи природных ресурсов для распределения субсидий среди обширных частей населения и тем самым поддерживать уступчивость народа по отношению к режиму. В качестве параллельного аргумента Даннинг доказывает, что нефтяная рента при определенных обстоятельствах может быть использована для поддержки демократии» [19, р. 317–318].

Конечно, и сегодня влияние постмодернистских идей порождает гораздо больший разброс мнений относительно того, какие страны и в каком смысле можно называть демократическими. К примеру, современный анализ итогов «бархатных революций» и перспектив демократизации политических систем в странах Центральной и Восточной Европы, а затем в посткоммунистической России и странах, некогда входивших в состав СССР, нередко сопровождается стремлением усилить аргументацию противников теории модернизации. В частности, эта тенденция проявляется и в упрощенном подходе к проблеме соотношения уровня экономического развития и стабильности демократических институтов и традиций. Сторонники такого подхода стремятся, как правило, вынести за скобки проблему взаимосвязи современной модели политической демократии с уровнем экономического прогресса, а заодно и с концепцией социального государства и социальных прав, ссылаясь на то, что на Западе данная модель представляет собой лишь «идеальный тип», а на деле она отнюдь не безупречна, и к тому же в последние десятилетия именно в этом регионе самой идее социальных прав был нанесен значительный ущерб (см. [12, р. 2–4], ср. [7, с. 14–15]).

Естественно, после того как проблема уровня доходов, формирования стабильного среднего класса и социальных гарантий оказывается теоретически снятой, в распоряжении ученых остаются исключительно «политические» критерии, значение которых можно толковать как угодно. Например, можно объединить Молдову — одну из беднейших стран в Европе в одну «демократическую группу» с Болгарией и Румынией, противопоставив их «автократиям» в России и Республике Беларусь (см. [17, р. 108]). Или же, напротив, считать, что в современной России демократия, пришедшая на смену тоталитаризму, вполне сопоставима с демократией западной, одновременно не отрицая при этом и тот факт, что в современном мире «глобальная зона нищеты значительно расширилась за счет большинства постсоветских республик, включая, с некоторыми оговорками, Российскую Федерацию» [3, с. 76, 80].

Такого рода концептуальные заключения не имеют большого распространения в современной политической теории. Преобладающей выглядит тенденция к появлению компромиссных версий теории модернизации на основе новых аргументов в пользу демократизации. В одной из них, разработанной Р. Инглхартом и его сотрудниками, явно просматривается попытка примирить многообразные противоборствующие точки зрения. Отмечая решающую роль экономических и технологических изменений, Инглхарт утверждает, что изменения культурных ценностей и уровней политического участия следуют за экономическим развитием. Экономическое развитие способствует появлению предсказуемых изменений в ценностях и дальнейшей перспективе демократизации. Что касается так называемых традиционных обществ, то они могут сохранять свои характерные атрибуты культурной жизни в процессе конвергенции с западной моделью общества и культуры. Более того, культурные различия продолжают определять характер ответа различных обществ на вызовы экономической модернизации. Изменения в материальных условиях могут служить причиной изменения позиций в отношении к власти, гендерным ролям, сексуальным практикам и политическому участию, но они возникают в контексте существовавших прежде культур. Экономические изменения будут трансформировать ценности западного иудео-христианского, конфуцианского и исламского обществ, но их результатом не станет единая мировая культура.

Инглхарт выделяет три измерения экономического развития, стимулирующего культурные и политические изменения:

- 1) рост экономической продуктивности и стремление государств «всеобщего благосостояния» увеличивать размеры потребления и снижать

масштабы бедности будут способствовать возникновению такого уровня материальной безопасности, который позволит индивидам отдавать большее предпочтение ценностям, не имеющим отношения к элементарной заботе о деньгах на пищу и кров;

2) рост образовательного уровня, распространение средств массовой информации и работа в отраслях промышленности, основанных на знаниях, дают индивидам большую независимость и стремление к автономии;

3) увеличение социальной сложности является причиной большей социальной независимости индивидов.

Инглхарт стремится доказать, что эти процессы имеют различные степени воздействия на то, что он называет индустриальными и постиндустриальными фазами экономического развития. В условиях индустриализации эти силы подрывают власть религии, но они часто заменяют религиозный авторитет авторитетом государства и индустрии. На постиндустриальной стадии доминирование светских властей подвергается эрозии в результате стремления к индивидуальной автономии во всех сферах жизни [14, p. 48 sq., 97 sq.].

Можно вполне однозначно констатировать, что характер дискуссий о судьбе современной демократии во многом отличается от той дискуссии, инициированной в 1974 г. знаменитым докладом «Об управляемости демократий», который был представлен «трехсторонней комиссии» Мишелем Крозье, Самюэлем Хантингтоном и Дзедзи Ватануки. Как известно, в этом докладе были подведены довольно пессимистические итоги периода, который французский социолог Жан Фурастье назвал «невидимой революцией» и «славным тридцатилетием» (1946—1975). Доклад начинался следующим весьма знаменательным пассажем: «Находится ли демократия в кризисе? Этот вопрос ставится со все возрастающей настоятельностью ведущими государственными деятелями Запада, журналистами и учеными и, если верить опросам общественного мнения, даже публикой. В некоторых отношениях сегодняшнее настроение вызывает реминисценции с настроением начала двадцатых годов, когда взгляды Освальда Шпенглера, наблюдавшего „Упадок Запада“, были в высшей степени популярными. Этот пессимизм отзывается очевидным эхом *Schadenfreude* [злорадства. — В. Г.] у различных коммунистических обозревателей, которые говорят с растущей уверенностью о „всеобщем кризисе капитализма“ и усматривают в нем подтверждение своих собственных теорий» [10, p. 2 sq.].

Теперь, когда от самих коммунистических обозревателей осталось только эхо воспоминаний, их триумфальное злорадство превратилось

у современных аналитиков в унылую повседневность обретающих все большую популярность рассуждений о переходе западных демократий в стадию «постдемократии». Под постдемократией, — отмечает в одноименной работе британский политолог К. Крауч, — понимается «система, в которой политики все сильнее замыкались в своем собственном мире, поддерживая связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекламе и маркетинговых исследованиях, в то время как все формы, характерные для здоровых демократий, казалось, остаются на своем месте... Я не утверждал, что мы, жители сложившихся демократий и богатых постиндустриальных экономик Западной Европы и США, уже вступили в состояние постдемократии. Наши политические системы все еще способны порождать массовые движения, которые, опровергая красивые планы партийных стратегов и медиаконсультантов, тормозят политический класс и привлекают его внимание к своим проблемам. Феминистское и экологическое движения служат главными свидетельствами наличия такой способности. Я пытался предупредить, что, если не появится других групп, способных вдохнуть в систему новую жизнь и породить автономную массовую политику, мы придем к постдемократии... Постиндустриальные общества продолжают пользоваться всеми плодами индустриального производства; просто их экономическая энергия и инновации направлены теперь не на промышленные продукты, а на другие виды деятельности. Точно так же постдемократические общества и дальше будут сохранять все черты демократии: свободные выборы, конкурентные партии, свободные публичные дебаты, права человека, определенную прозрачность в деятельности государства. Но энергия и жизненная сила политики вернутся туда, где она находилась в эпоху, предшествующую демократии, — к немногочисленной элите и состоятельным группам, концентрирующимся вокруг властных центров и стремящимся получить от них привилегии» [2, с. 7–9].

Нетрудно установить, что такого рода рассуждения являются прямым продолжением следующих вполне однозначных выводов, сделанных авторами доклада «трехсторонней комиссии»: дух демократии выступает за равноправие, индивидуализм и популизм, он не терпит деления на классы и на ранги. Его распространение ослабляло традиционных противников демократии, таких как аристократия, церковь и армия. Но в то же время всепроникающий дух демократии может представлять угрозу и подорвать основы всех форм ассоциаций за счет ослабления социальных связей, которые держат воедино семью и общество. Любая социальная структура требует неравенства ее членов в распределении власти и раз-

деления членов по выполняемым функциям. По мере распространения демократии в обществе демократические нравы разрушают не только общественно необходимые иерархические структуры, оказывая уравнивающее влияние, но также разрушают основы доверия и взаимодействия среди граждан, создают препятствия к сотрудничеству ради какой-либо общей цели. Руководители не имеют должного уважения в демократическом обществе. Но без уверенности в своем руководстве ни одна группа не может действовать эффективно. Когда институт лидерства ослаблен среди различных групп общества, он также ослаблен и на верхних уровнях власти. Управляемость общества на национальном уровне зависит от того, насколько эффективно оно управляется на субнациональном, региональном, локальном, функциональном и отраслевом уровнях. Если профсоюзные объединения дезорганизованы, а их участники недисциплинированы, если чрезмерные требования и забастовки являются нормой жизни, то формулирование и внедрение национальной политики в области заработной платы невозможно. Таким образом, падение уважения к руководителям в обществе приводит к ослаблению авторитета правительства. Короче говоря, при демократии верховные политические лидеры работают над объединением общественных интересов, а политический процесс зачастую работает над их разъединением и т. д. [10, р. 9, 11–14, 16–23, 25–30, 31–33, 161–166 et al.].

Следует еще раз подчеркнуть, что и концепция Хантингтона, Ватануки и умершего 24 мая 2013 г. Мишеля Крозье, и теория «постдемократии» Колина Крауча в настоящее время не должны рассматриваться как некий побочный результат классических дискуссий лишь на том основании, что все эти ученые, по крайней мере внешне, подчеркивают приверженность традиционным демократическим идеалам.

Представляется, что приведенные выше модели теоретического анализа нередко оставляют открытым один принципиально важный вопрос: какова та будущая конфигурация нового мирового порядка, во имя которого формируются новые политические структуры и разрабатываются новые политические технологии, основанные на симбиозе архаики, примитивного макиавеллизма и «постмодернистских прорывов», разрушающих вековые устои традиционной государственности? Независимо от того, с каких идеологических позиций предпринимаются попытки ответить на данный вопрос — с консервативных, либеральных или леворадикальных, — многие участники дискуссии, являющиеся в принципе сторонниками демократических институтов, нередко в той или иной степени склоняются к тому, чтобы разделить точку зрения, сформулированную

в предельно крайней форме Майклом Хардтом и Антонио Негри: «Для создания теории демократии, соответствующей современной глобальной реальности, необходимо новое географическое воображение, свободное от стереотипов, связанных с наличием строгих границ между национальными государствами... Сегодня — и это тоже подтверждается опытом России — столь узкое и замкнутое поле политической борьбы, как национальное государство, совершенно неадекватно ни целям противостояния курсу на формирование неолиберальной капиталистической системы, ни целям создания жизнеспособной демократической альтернативы этой системе» [6, с. XLVI, XLVIII].

Литература

1. Арон П. Демократия и тоталитаризм. — М. : Текст, 1993. — 303 с.
2. Крауч К. Постдемократия. — М. : ГУ — ВШЭ, 2010. — 192 с.
3. Оганисян Ю. С. Новая Россия в изменяющемся мире: социально-политический ракурс // Полис. Политические исследования. — 2014. — № 3. — С. 76–90.
4. Симония Н. А. Новые стратегические факторы в борьбе за модернизацию России // Полис. Политические исследования. — 2014. — № 3. — С. 67–75.
5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. Политические исследования. — 1994. — № 1. — С. 33–48.
6. Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. — М. : Культурная революция, 2006. — 559 с.
7. Хейфе О. Есть ли будущее у демократии? О современной политике. — М. : Дело — РАНХиГС, 2015. — 328 с.
8. Berger P. L. The Cultural Dynamics of Globalization // Many Globalizations. Cultural Diversity in the Contemporary World ; ed. by P. L. Berger and S. P. Huntington. — Oxford; New York : Oxford University Press, 2002. — P. 1–16.
9. Birch A. H. The Concepts and Theories of Modern Democracy. — 3rd ed. — London and New York : Routledge, 2007. — 315 p.
10. Crozier M. J., Huntington S. P., Watanuki J. The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. — New York : New York University Press, 1975. — 220 p.
11. Dahlen A. P. Islamic Law, Epistemology and Modernity. Legal Philosophy in Contemporary Iran. — New York; London : Routledge, 2003. — 392 p.
12. Gill G. Democracy and Post-Communism. Political Change in the Post-Communist World. — London; New York : Routledge, 2002. — 272 p.
13. Höffe O. Democracy in the Age of Globalization. — Dordrecht : Springer, 2007. — 350 p.
14. Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. — Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1997. — 464 p.
15. Many Globalizations. Diversity in the Contemporary World / ed. by P. L. Berger and S. P. Huntington. — Oxford; New York : Oxford University Press, 2002. — 374 p.

16. *McDaniel T.* Autocracy, Modernization and Revolution in Russia and Iran. — Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1991. — 239 p.
17. *Moeller J.* Post-Communist Regime Change. — London; New York : Routledge, 2009. — 177 p.
18. *Sakwa R.* Russian Politics and Society. —4th ed. — London; New York : Routledge, 2008. — 585 p.
19. The Oxford Handbook of Comparative Politics / ed. by C. Boix and S. Stokes. — Oxford : Oxford University Press, 2007. — 1021 p.
20. Understanding Contemporary Society: Theories of the Present / ed. by G. Browning, A. Halcli and F. Webster. — London : Sage Publications, 2000. — 502 p.
21. *Unger R. M.* What Should the Left Propose? — London; New York : Verso, 2005. — 179 p.